Л.В.Чеснова, Е.Б.Музрукова, В.И.Назаров

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ*
(Интервью с А.А.Нейфахом)

Доктор биологических наук, профессор Александр Александрович Нейфах, возглавляющий лабораторию биохимической эмбриологии в Институте биологии развития АН СССР им. Н.К.Кольцова, — один из выдающихся представителей этой отрасли знания в нашей стране. А.А.Нейфах — автор около 150 научных публикаций и пяти монографий. Среди них выделяются такие фундаментальные работы, как "Молекулярная биология процессов развития" (1977), "Проблемы регуляции в молекулярной биологии" (1978), написанные в соавторстве с М.Я.Тимофеевой, "Гены и развитие организма" (1984), в подготовке которой приняла участие Е.Р.Лазовская. Ряд работ А.А.Нейфаха издан в США.

Путь Нейфаха в большую науку складывался непросто. В нем в довольно типичной форме отразились противоречия и уродливые стороны нашей жизни в послевоенные годы. В период, когда лысенковцы торжествовали победу, Александр Александрович был еще совсем молодым человеком, только что окончившим биофак Московского университета. Несмотря на хорошую научную подготовку и подлинное призвание к исследовательской работе в области эмбриологии, его в течение многих лет не принимали в аспирантуру и в штат института. И ему самому приходилось вести борьбу за элементарную справедливость.

За 20 лет после 1948 г. общественно-политические взгляды Нейфаха эволюционировали от восторженного поклонения Сталину до понимания прав человека как первоосновы демократического государства, характерного для московских диссидентов. В 1968 г. в связи с чехословацкими событиями Нейфах подписал письма в высшие инстанции с протестом против незаконного ввода войск в суверенную страну и ареста группы лиц, демонстрировавших осуждение этой акции на Красной площади, за что был исключен из партии. Только благодаря поддержке акад. Б.Л.Астаурова он остался тогда на посту заведующего лабораторией. Однако его все-таки освободили от этой должности в 1974 г., когда выяснилось, что один из сотрудников его лаборатории остался на Западе. В связи с реорганизацией института лаборатория биохимической эмбриологии была вообще расформирован, а восстановлена вместе с ее бывшим заведующим только в 1989 г.

Как отмечает сам Нейфах в своем интервью, в центральных событиях, развертывавшихся в отечественной биологии, он по молодости лет не участвовал, но был где-то около них и хорошо их помнит. Отлично сохранил он в своей памяти общую обстановку тех лет и все то, что говорилось тогда в научных коллективах московских биологических институтов. Достаточно красноречивы и некоторые обстоятельства его личной биографии.

* Автор введения — В.И.Назаров.

В интервью с Нейфахом, которое мы предлагаем вниманию читателя, есть помимо всего прочего еще одно ценное, на наш взгляд, качество — полнейшая объективность. Воссоздавая облик того или иного сподвижника Лысенко или просто должностного лица, которому по работе приходилось с ним общаться и сотрудничать, Нейфах не пользуется одной черной краской, как это у нас принято в отношении людей развенчанных, а находит для их характеристики многообразные и даже притягательные тона. Интервью записано 20 января 1990 г.

"Я родился в 1926 году в Москве. Сейчас мне, стало быть, 63 года. До начала войны (Великой Отечественной. — *Ред.)* у меня была вполне обеспеченная жизнь. Родители мои были врачи, но никто не репрессирован, и никто из их ближайших родственников не пострадал. Сам я в общем все предвидел. Глубокий патриотизм у меня всегда был. В 1946 году, когда были первые выборы, а я только что вернулся с фронта, я специально брал открепительные талоны, ехал в Сталинский избирательный округ, чтобы голосовать за Сталина. Мне тогда было 20 лет. Более того, когда Сталин умирал, я уже многое понимал, но отец, который знал больше меня, говорил, что вот мы не можем сейчас оценить масштаба тех явлений; что, если бы мы жили во время Французской революции, мы бы тоже говорили: "Какой ужасный Дантон, какой ужасный Робеспьер", — а вот сейчас мы видим, что Французская революция — это все-таки Французская революция. Но я отца сейчас оправдываю. Он умер перед самым XX съездом. Он знал ситуацию, но не представлял масштабов. Вот этим я и объясняю себе линию его поведения. Когда я собирался вступать в партию, я с ним советовался, но он колебался. Я подал заявление...

В начале войны мне было 15 лет. Отец поехал в армию, а наша семья жила в эвакуации в Омске. Там я впервые встретился с Трофимом Денисовичем Лысенко вплотную, вот так, как сейчас с Вами. До этого я увлекался биологией, был однажды на его лекции о картофеле. Я, конечно, не понимал тогда всех подспудных течений. Я знал, что это большой ученый; мне нравилась его выразительная речь, которая захватывала слушателей. Может быть то, что он говорил, было и неверно, но он умел убеждать. Я до сих пор думаю, что он шел на сознательный обман ради большой идеи; например, что никакие не гены, а весь организм передает наследственность, все меняется и прочее, а ради того, чтобы эту идею донести, чтобы она победила, он готов был идти на подтасовку фактов, на жульничество, на доносы, на то, чтобы убрать Вавилова. Но в отличие от И.И.Презента он просто шарлатаном не был. А вот Презент был совершенный подонок, аморальный человек, готовый вилять направо и налево, и в общем, он, конечно, был не очень грамотным в биологии, но был достаточно умным, чтобы особых глупостей не говорить, знал кое-какую литературу. Или взять такого человека, как Н.П.Нуждин. Он был членкорром и замом Лысенко по Институту генетики. Лысенко сломался, и даже Г.К.Хрущову ставили в укор, что тот пытался продвинуть Нуждина в Академию наук. Академия решительно отказалась его выбрать: ведь это было либеральное время. И это был первый провал Лысенко.

Нуждин был образованным генетиком. Он просто сознательно говорил — что черное белое, а белое — черное. А когда я с ним беседовал , он доверительно говорил, что "так устроен мир, а как жить? Конечно, мы с Вами понимаем, но выбираем... А где сказано, что надо жить честно? Это вовсе необязательно".

В Омске в годы войны находился Сельскохозяйственный институт, а при нем какие-то плантации. И вот Лысенко довольно часто туда наезжал. Там наряду с местными работала группа ученых, эвакуированных из Москвы. Они занимались разными посадками в целях изыскания наиболее экономичных способов разведения применительно к условиям военного времени. Сажали картофельные верхушки — так называемые глазки. Интересовал Лысенко почему-то мак. Возделывались и какие-то другие культуры.

Я попал туда летом после окончания 9-го класса вместе с двумя одноклассниками. Нам нужно было ехать куда-то в колхоз, но нам этого не хотелось. Мы

узнали, что в этот Сельскохозяйственный институт можно устроиться на летний период сторожами — охранять эти посадки, что будет эквивалентно работе в колхозе. Вот мы, три эдаких интеллектуала, и устроились в этот институт и начали там работать, хотя и были далеки от сельского хозяйства.

Вот на посадках и стал периодически появляться Лысенко. Он на нас не обращал внимания. Как-то раз он, кажется, на нас ругался за то, что мы не уберегли посадки и у него якобы украли мак или что-то другое.

Помнится был там такой случай. Ученые, работавшие на посадках, имели бронь от военного призыва. Любая неприятность по службе оборачивалась для них угрозой призыва в армию. Они уже были немолодые и боялись этого как огня. Так вот, на моих глазах эти ученые собрали мак и положили его в мешки. А головки мака, сложенные вместе, обладают свойством разогреваться, в результате же перегрева семена утрачивают всхожесть. Значит, эксперименты могли бы погибнуть. Вот такая история как раз там и произошла, и я видел, как Лысенко с болтающейся на груди "Золотой Звездой" бегал по полю, топал ногами, его слюна текла по пиджаку, а двое ответственных за это ученых, на которых он кричал... С ними, я даже не могу сказать, что с ними там было от страха и ужаса перед тем, что их может ждать. Отругал Лысенко и меня за плохую работу. Это была моя первая встреча с Лысенко.

В 1948 году я после полуторагодичной службы в армии и двухгодичной учебы в университете (благодаря пребыванию на вечернем отделении я имел возможность пройти курс быстрее) закончил полный университетский курс. Конечно, я уже тогда во многом разбирался и понимал, что в отличие от настоящей генетики, которую до августовской сессии ВАСХНИЛ еще преподавали, учение Лысенко — чушь и глупость.

Курс генетики на биофаке МГУ читал тогда С.И.Алиханян. Шли разговоры о Лысенко, но казалось, что это споры какие-то академические, что ли, вроде серии статей в "Литературной газете", в которых, в частности, участвовал И.И.Шмальгаузен. Оказалось, что Шмальгаузен занял в спорах довольно нечеткую мягкую позицию. До выступлений Лысенко он был против конфронтации с Дубининым, считавшим, что все зависит исключительно от генов. Шмальгаузен, как и многие морфологи, придерживался взгляда, что не все определяется генами. Такая нечеткая позиция Шмальгаузена выражала не столько борьбу за научную идею, сколько отношение к спору, кто важнее — Дубинин или его противники. Поэтому, например, когда в дискуссию о виде, видообразовании и естественном отборе вмешался философ М.Б.Митин, он Дубинина ругал больше, а Шмальгаузена меньше; например, говорил, что Шмальгаузен прав, но не совсем, а Лысенко вот прав совсем. Молодой Ю.А.Жданов занимал антилысенковскую позицию, и в этом некоторые видели некий шанс. Но все упиралось в незнание позиции Сталина.

Потом прошла сессия ВАСХНИЛ 1948 года. Она очень секретно готовилась и для большинства явилась неожиданностью. Интересно, что перед сессией было распоряжение правительства зачислить в академики что-то порядка 40 человек, что было нарушением всяких правил, и никто этого распоряжения не оспаривал. Эти 40 человек все были сторонниками Лысенко, и их приход сразу изменил соотношение сил в Академии: при этом терялся смысл дискуссии. На сессии были слабые попытки выступать против доктрины Лысенко, но они потонули в мощном хоре его сторонников. На стороне Лысенко выступала центральная пресса, вышла его книжка "Агробиология". Но тут важно правильно оценивать поведение противников Лысенко. Так чувствовал себя увереннее И.А.Рапопорт благодаря тому, что потерял на войне глаз, имел ордена, а участие в войне ценилось. Он был смелым, даже отчаянным человеком. Он не шел на компромисс. Тут он решил играть ва-банк. Остальные генетики, в частности С.И.Алиханян, занимали менее жесткую позицию. Шмальгаузен опять-таки выступал противоречиво: он говорил, что никогда не был генетиком. Но он не сказал ни одного подлого слова, не дал повода для вывода, что, дескать, Лысенко прав. Он просто не хотел влезать в политику.

Незадолго до сессии был арестован генетик Д.Д.Ромашов. Его поместили в Казанскую психиатрическую больницу, где содержались политические инакомыслящие. Многие рассматривали этот факт как продолжение репрессий, которые, собственно, и не прекращались. В 1949 году прошла большая волна повторных заключений. Она коснулась лиц, уже отбывших срок; скажем, 10-летний для тех, кто был осужден в 1937 году. Они пытались вернуться в Москву, но их в столицу не пустили, и они осели в Подмосковье. В 1949 году их всех снова арестовали и отослали, и вот тут многие этого не перенесли и умерли. Повторные репрессии коснулись десятков тысяч людей, из которых после второго заключения осталось в живых не более тысячи.

Печального примера этих людей генетики, не согласные с Лысенко, не могли не учитывать. Не всякий мог свыкнуться с перспективой очутиться в тюрьме. Речь шла не только о работе в институте, но и о судьбе семьи. Все понимали, что от того, будет ли признано существование генов или это отвергнут, мировая наука никуда не денется и гены не перестанут существовать. Для многих было ясно, что верх возьмут лысенковцы и что их победа санкционирована сверху.

На сессии ВАСХНИЛ 1948 года Лысенко объявил, что его доклад одобрен Политбюро. Он не назвал прямо имя Сталина, но все, конечно, понимали, что это одно и то же. И тогда генетики попросили слова. Каялись и С.И.Алиханян, и А.Р.Жебрак, и П.М.Жуковский, обещая, что теперь будут честными. Я их за это не осуждаю, хотя досадно, конечно, за них. Если бы был не один Рапопорт, а хотя бы человек пять таких же, как он, может, ситуация на сессии сложилась бы по-другому.

Стенограмма выступлений была неполной. Был диалог между Рапопортом и Презентом. Последний, говорят, сказал что-то вроде: "Молчите, блудливый шакал!". В это время я как раз кончал университет и стоял вопрос о моей аспирантуре. Мой шеф Василий Васильевич Попов, по образованию эмбриолог, был далек от генетики, хотя понимал все происходившее, но предпочитал не вмешиваться, считая, что это не его дело. У него была лаборатория в Академии наук, и одновременно он работал в Московском университете. Он предложил мне сделать выбор. Я предпочитал быть аспирантом университета, поскольку вырос в его стенах. Как раз в этот момент деканом биофака назначили Презента. До него деканом был С.А.Юдинцев — замечательный человек. Его сняли и поставили Презента. Причем Презент был назначен одновремено деканом биофаков Московского и Ленинградского университетов и ездил на "Стреле" взад и вперед. Это сильно расширяло сферу его деятельности. К тому же ему особенно нравились первокурсницы, как ленинградские, так и московские. Пока одна из ленинградских студенток из-за него не попыталась выброситься из окошка, у него не было никаких неприятностей. А тут его вынуждены были убрать из Ленинградского университета.

Однажды Презент собирал будущих аспирантов. Был объявлен так называемый мичуринский набор: брали порядка сорока-пятидесяти аспирантов (тогда не было таких ограничений, какие существуют сейчас). Надо сказать, никакого антисемитизма со стороны Исая Израилевича не было. Кастати, не было ни малейшего намека на антисемитизм и со стороны Лысенко. Он на этом даже никогда не играл.

Нас было всего два кандидата в аспирантуру. Вот мы пришли к нему (я и еще одна девушка), он спросил, на какую кафедру мы хотим идти. Мы сказали, что на эмбриологию. "А что вы там хотите делать?" — "А вот изучать индукцию Шпемана". Ведь мы тогда росли на этом. Он заявил, что "это нас не интересует. Вот вы знаете о работах Хеманда?" Я сказал, что не знаю. "Вот это наука, это эмбриология! Вот это механика развития, которая нужна народному хозяйству!". В общем от нас требовалось какое-то слово лояльности, признание нашего согласия, что будем этим заниматься. Больше ничего не требовалось. У меня за спиной была Академия наук, и я сказал, что не знаю. "Ну, так", — говорит. Я спрашиваю: "Ну что, разговор окончен?". Он говорит: "Окончен, до свидания".

Но он меня запомнил. Я довольно легко поступил в аспирантуру в Академию и потом не раз благодарил судьбу. Здесь была школа.

Кольцовский институт находился тогда на улице Обуха, в доме, где помещается Индийское посольство. Директором института был тогда Г.К.Хрущов, отец нашего нынешнего директора — Н.Г.Хрущова. Меня взяли туда без особых хлопот даже с тройкой по марксизму.

Личность Хрущева была достаточно своеобразной. Его многие справедливо осуждают за то, что, когда надо было выступать, он говорил то, что требовалось; например, что мичуринское учение — это единственно, что сейчас отражает биологическую науку... Он устроил меня к О.Б.Лепешинской. Случалось, когда в разговоре наедине я говорил ему, что, например, Вейсман был прав, он возражал, советовал об этом не говорить, добавлял, что это лишнее. При этом он никак себя не скомпрометировал.

Когда я окончил аспирантуру, в институте меня, единственного из всех аспирантов, не оставили. Попов не очень старался, а тогда нужно было усиленно хлопотать. За это я не был на него в претензии, так как вел себя независимо. Другие, выполняя работу, ставят рядом со своей фамилию шефа. Я этого не делал. Каждый из нас был сам по себе. Мы никогда не ссорились всерьез, но и любви большой между нами не было.

Моим кумиром был тогда Г.В.Лопашев. В это время в науке работали М.Л. Бельговский, Б.Л.Астауров, который в то время был простым сотрудником без больших перспектив. Никто не мог подумать, что со временем он займет место завлабораторией. Лысенковцы его не трогали. Все решал Хрущев. Н.П.Дубинина уволили без разговоров; тут Хрущов ничего не мог сделать, а всех остальных он выдал за эмбриологов. С Лопашевым в этом случае трудностей не возникало. А вот другие видные эмбриологи института, такие как Г.А.Шмидт или Л.П.Полежаев, кинулись кричать: "Ура, ура, Лысенко!".

Полежаев поддерживал Лепешинскую. У него есть такая жизненная установка, что надо приспосабливаться, делая свое дело. Вместе с тем он себя при этом не забывал. Шмидт при всей своей огромной эрудиции тоже был готов на многое пойти. Он набрал к себе в лабораторию малокомпетентных людей. Они вовсе не были мичуринцами, хотя и были выходцами из Сельхозакадемии. Они даже говорить не умели. Лопашева не трогали, и он продолжал заниматься своими прежними вещами. Попов продолжал опыты с лечением катаракты.

Тогда важно было иметь выход в практику. Астауров тихонько занимался шелкопрядом. Он был эмбриологом, большой пользы не обещал. Хрущов, конечно, знал о взглядах Астаурова, но он делал вид, что тот занимается эмбриологией, которой он не касается. Так что там, где Хрущов мог что-то сохранить не во вред себе, он сохранял.

Увидев, что после окончания аспирантуры я оказался без работы, Хрущов сказал мне, что хочет меня рекомендовать на студию научно-популярных фильмов. Там намечались съемки фильма о Лепешинской. Работа эта временная — на период, пока у меня нет места в лаборатории. Ставка экспериментатора на студии — это 100 рублей (сумма, по тем временам достаточная). Экспериментатор готовил под микроскопом клетки, которые нужно было снимать.

Однажды на студию пришел кинорежиссер Згуриди снимать фильм о Лепешинской. Он абсолютно верил в ее бредни, хотя, впрочем, суть дела его не очень интересовала. Он думал лишь о том, как все красиво снять: вот делится клетка, вот старая женщина сидит перед микроскопом, к ней идут ученые. Он обратился ко мне: "Давайте снимем, как делится клетка". Я стараюсь подыскать клетки, которые бы делились, а они не делятся. Ведь это процесс медленный: сидишь ночь, а они не делятся или фокус уходит. Но вот отснят негатив. Он берет уже позитивную пленку, смотрит, берет ножницы, отводит мою руку и говорит: "Запомните, юноша, с пленкой нужно обращаться, как с женщиной, без всякой жалости". Потом мы поехали к Лепешинской посоветоваться. Согласно ее теории,

клетки нужно было мелко растереть — там получается полный ноль; потом появляются капельки, они сливаются — в них происходит "нечто". Или, скажем, один из опытов с гидрой. Ее растирают, при этом тоже появляются шарики. Мы растирали, снимали шарики — и все было совершенно достоверно: возникает шарик, в нем на следующий день появляется маленький шарик, потом сбоку прирастает еще один. Это все меняется. Когда снимаешь на цейтраферной съемке, это все живет.

Как я сейчас думаю, шарики — это капли жира, в которых происходят какие-то процессы (может быть, гниение; может быть, отмешивание или выпадают соли). Создается впечатление, что это какие-то витальные процессы. Я не верил, что это живое, но мы продолжали съемки.

У нас все начиналось с шарика, а Лепешинская хотела, чтобы он возникал из ничего. Однажды мы к ней поехали домой. Она жила в "Доме на набережной", то есть в Доме правительства. У нее была великолепная квартира на одном из верхних этажей. Лепешинская была с нами очень любезна. Но непринужденная обстановка нарушалась тем, что она не помнила своей книжки, и между нами начались споры. Я говорил, что это не так, а она утверждала, что так, и при этом ее лицо покрывалось красными пятнами. Препирательства перемежались разговорами о политике, о гистологии и прочем. Она говорила, что не намерена всем этим заниматься и хочет, чтобы гистологией занимался Хрущев, а микробиологией — А.А.Имшенецкий, директор Института микробиологии, а чтобы она была над всеми, некоей "царицею морскою". Вместе с тем в ней не было важности, и она производила впечатление доброй женщины, довольной своей жизнью.

Надо иметь в виду, что к ней бросилась куча народа: верующих, неверующих — любых; она каких-то уволенных устраивала, за кого-то хлопотала, каких-то сирот воспитывала. И при этом оставалась дремучей невеждой. Она особенно заводилась, когда речь заходила о ее врагах, в частности об А.Г.Гурвиче, который был врагом номер один.

Мне довелось с Лепешинской разговаривать. Я не могу сказать, чтобы я произвел на нее большое впечатление. Большой любви между нами не было. Но она была вполне контактная, доброжелательная. Летом мы еще раз приезжали к ней, уже на дачу. Был общий разговор, но ничем конкретно он не завершился.

Я участвовал в киносъемках, длившихся 2-3 дня. Мы брали гидру из прудовой воды, растирали ее. Естественно, в этой кашице бактерий больше, чем гидры. Они начинают в этой питательной среде размножаться и бегать, затягивая всю поверхность жидкости. Что делать? Мы пытались эту гидру стерилизовать, чтобы она была живая, центрифугировать. Ничего не получалось. Тогда я добавил формалина (10 %). И все наладилось: живых микробов не осталось, а процесс шел точно так же, что снимало всякие вопросы. Если это происходит в присутствии формалина, то о какой жизни можно говорить!

Хрущев был главным консультантом этого фильма, я же — всего-навсего мальчик-экспериментатор. Я ему в присутствии 10-15 киношников и других лиц показываю отснятую пленку. Он спрашивает: "А что Вы сделали, чтобы не было микроорганизмов?". Я говорю, что это я Вам потом отдельно расскажу. Вдруг он багровеет и говорит: "Хорошо, хорошо, я Вас потом специально спрошу.". Он никогда потом этого не спрашивал.

Когда эпоха Лепешинской подходила к концу и уже можно было ее критиковать, я выступил на одном из собраний в ее присутствии и рассказал, что опыты, которые мы проводили, действительно так и выглядят, но они идут в присутствии формалина тоже. Она на меня стучала палкой. Больше мы с ней не виделись. Плохо, конечно, что я не сказал этого раньше.

В общем у меня к ней отношение неоднозначное. Но она играла ужасную роль.

Вопрос. Говорят, что она просто писала доносы, например на ее друга Б.П.Токина.

Ответ. Ну, Токин сам был хорош... Лысенко хоть и был фанатиком, а знал, что сказать Сталину, что написать, считал нужным заявить, что он Вавилова не трогал, но этого никто не знает.

Лепешинская искала контактов с Лысенко, в какой-то мере их обрела, но не в полной мере. Может, они не хотели делить приоритет, устанавливать, кто из них первый. Тут у нас в аспирантуре появился Бошьян, кстати недавно защитивший докторскую. Она его тоже не очень приняла, хотя он дул в ту же дуду. Но у него произвол совсем уж оголтелый. Он из стрептомицина получал стрептомид, из пенициллина — пенициллиум. Я пытался в разговоре с Ф.А.Дворянкиным доказать, что этого не может быть, так как все живое содержит серу и фосфор, а в молекулу пенициллина сера и фосфор не входят. Он говорил, что я подхожу к вопросу слишком узко, чисто химически, а нужно смотреть на него диалектически. Надо заметить, что он говорил со мной очень душевно. Мы с ним встречались еще несколько раз на улице, и он производил на меня впечатление человека, который вот-вот умрет (хотя после этого он жил еще долго).

Я вам рассказал такие вещи, которые вам больше никто не расскажет. Ну, кто вам еще скажет какие-то теплые слова в отношении Лепешинской? Что, например, Лысенко производил впечатление? Если вы поговорите с людьми, которые были в то время студентами, они вам расскажут то же самое. Ведь не случайно весь биофак вдруг перековался. Это ведь сейчас студенты стали прагматиками, а тогда они искренне уверовали в Лысенко. Даже некоторые дипломники, заканчивавшие кафедру генетики и буквально трогавшие руками хромосомы, раскаивались в своих представлениях, признавая, что это была ошибка в их жизни, неправда и что вот теперь они работают по-настоящему. Разумеется, на людей старшего поколения, имевших свои устои и хорошо понимавших все происходящее, слово Лысенко не действовало.

Вопрос. Вы знаете, о многом говорит предисловие Лысенко к книге Лепешинской[1]. Это такое невежество. Представляется, что он и говорил так же, как серый валенок.

Ответ. Валенок-то валенком, но все-таки не совсем... Вот он говорит: "Организм, организм — а почему организм? А потому, что он состоит из органов. Вот орган, вот орган...". Это надо было слышать. Я был, так сказать, во всеоружии. В научном плане я мог ответить на любые его слова. И тем не менее его речь как-то завораживала. Ее можно по действию сравнить с проповедью священника. Хотя 6 тысяч лет назад, как мы знаем, было не сотворение мира, а начало цивилизации, заявления, что Бог есть любовь, а любовь есть Бог, производят впечатление. Речи Лысенко были того же плана. Таковы свойства человеческой натуры. Окружавшие меня люди стали мичуринцами на моих глазах, но потом так же легко от своих взглядов отказались.

А вот Хрущов был хорошим дипломатом и по возможности ничего плохого не делал, хотя себя не забывал. Стал, например, членкорром. У него была одна работа, которой он страшно боялся до конца своей жизни. Он был одним из первых, кто стал заниматься культурой тканей. Он стал изучать в культуре тканей кариотипы, т.е.хромосомы. И вот, исследуя хромосомы японца, китайца, американца, русского и еще кого-то, он якобы обнаружил у них какие-то отличия. Это означало, что генетика дает основания для расистских теорий. Поэтому Хрущов эту работу никогда не упоминал, но за месяц до неожиданной для него сессии ВАСХНИЛ он признался, что есть три человека, которые оказали на его научную жизнь решающее влияние. Это А.Г.Гурвич, А.А.Заварзин и еще один из старой когорты; кто именно, я сейчас не помню.

Я хотел бы сказать в защиту еще одного человека — А.Н.Студитского. Я слушал последний доклад Студитского перед сессией ВАСХНИЛ. Это был вполне профессиональный доклад известного гистолога о некоторых проявлениях морфогенеза. Студитского цитировали и сейчас продолжают цитировать во всем мире. Так вот, с самого начала сессии ВАСХНИЛ он безоговорочно встал под ее знамена и начал ругать своего шефа Шмальгаузена, которому был многим обязан. Его сделали научным редактором газеты "Правда". Это была очень высокая должность. Ему как раз принадлежала статья "Мухолюбы — человеконенавистники".

А в целом он в общих вопросах был человеком малообразованным, хотя долгое время возглавлял редколлегию журнала "Успехи современной биологии".

У Стругацких есть книга "Как трудно быть Богом". Герой этой книги ведет себя, как князь, и прочее, прочее. Но все заметили, что он никого не убивает. И это его погубило. Они кинулись на него, так как знали, что что бы с ним ни делали, он все равно не убьет. Так вот, Студитский, за исключением "американских расистов и империалистов" и своего учителя Шмальгаузена, а отчасти также Дубинина, то есть людей уже "лежащих" никого не тронул. Ни один человек не может сказать, что его Студитский погубил. Науку он продавал направо и налево, но не живых людей. Это была его особенность. Может, поэтому он не считался "своим". Более того, когда у меня были неприятности по партийной линии еще до чехословацких событий 1968 года, я, зная Студитского, пришел к нему и стал рассказывать свою историю. С ним началась чуть ли не истерика. Он изменившимся голосом воскликнул: "Зачем же так делать?". Он ничего не сделал конкретно.

В общем Студитский никого не погубил, никого не разоблачил, никого не выявил. Недаром его любила вся лаборатория. Такой он был. Конечно, конъюнктурщик, но человек незлобный.

Вопрос. А вот не могли бы Вы рассказать о Вашей встрече с Н.В.Тимофеевым-Ресовским?

Ответ. Когда Н.В.Тимофеев-Ресовский стал созывать молодежь к себе на Урал, на знаменитые семинары физиков, то меня раза три приглашали. Каждый раз семинары приходились на май, когда я должен был ехать в экспедицию за морскими ежами. От экспедиции я отказаться не мог, хотя приглашение Тимофеева было для меня очень лестным. Я посылал вежливые телеграммы и ни разу на семинарах не был. Когда Тимофеев приехал на несколько часов в Москву, я пришел, представился. Он говорил, что знает обо мне со слов Б.Л.Астаурова. Но между нами был какой-то холодок, потому что он говорил: "Вот мы, генетики, знаем, а вы, эмбриологи, не знаете. А что вы можете сказать?"...

Конечно, я в жизни не поверю, чтобы Тимофеев ставил какие-то опыты на людях. Во-первых, генетика человека — это вопрос такой, что, я думаю, евгеникой можно заниматься только не негативной. Он ею не занимался. Но Тимофеев был директором института, и в нем, конечно, велись такие работы. Почему он не вернулся в СССР, это совершенно ясно. Но мне непонятно, почему он не уехал на Запад. Объяснения нет. Единственное, что мне кажется, это что он был там нашим агентом, что у него было задание оставаться на месте, и он как-то с властями сотрудничал. Другое дело, что наши на это плюнули и посадили его. Возможно, что он как-то пытался не порывать связи с нашими на том основании, что он будет им здесь полезнее на посту директора института.

Вопрос. Говорят, что он из-за сына не уезжал?

Ответ. С сыном все выяснилось буквально в последние месяцы. Его арестовали за несколько месяцев до конца войны и потом расстреляли. Он об этом ничего не знал. Это-то понятно; возможно, поэтому он от наших и не убежал. У меня в голове такая рабочая версия (хотя абсолютно без фактов), что вряд ли человека, жившего во вражеском стане, наши не попытались бы завербовать. Думаю, что он не отказывался. Другое дело, что он бы мог сообщить. Только такое объяснение может показаться правдоподобным, иначе непонятно. Тем более, что он все время говорил, что они с Бором очень сходились и тот его настойчиво приглашал.

У нас Тимофеева изображают, включая Гранина, генетиком первого класса. А он был генетиком третьего класса. Первый генетик первого, или высшего, класса — это Морган. Есть большой второй класс. Это Меллер, Бриджес, Дельбрюк — приятель Тимофеева, затем Ледерберг. Их где-то с десяток.

Правда, есть такой рассказ: Менухина спрашивают про Ойстраха: "Как Вы его оцениваете?". Тот отвечает, что Ойстрах — это вторая скрипка мира. — "Вторая? А кто же первая?" — "Ну, первых много...".

Так вот, Тимофеев третьего класса. У него были хорошие идеи, задумки. Он ученик С.С.Четверикова. По нашим масштабам это генетик не ниже Н.П.Дубинина. Большой ученый, спора нет.

Расскажу Вам и такую институтскую историю. После сессии ВАСХНИЛ 1948 года лаборатории эмбриологии и механики развития закрыли, сотрудников никого не уволили, а посадили как бы на практическую тематику. Т.А.Детлаф и А.С.Гинзбург занялись развитием осетровых рыб, и до сих пор они остаются в этом деле первыми людьми. Ими создана большая школа, написаны многие книги. Я бы сказал, что в этой области они сделали гораздо больше, чем если бы они продолжали пересаживать эктодерму и энтодерму. У них была хорошая школа, они работали на базе лабораторий Д.П.Филатова.

У нас был, по-моему на должности старшего научного сотрудника, некто И.А.Садов. После зав.лабораторией это был второй человек. У него был свой метод инкубации икры. Он считал, что икринки должны быть наклеены, как это бывает в природе. Он из головы выдумывал всякие теории и тут же пытался их внедрять в практику, отвергая привычные методы. При этом он боролся за свой приоритет. И вот, пока меня повторно не взяли в аспирантуру, а работа на киностудии закончилась, Хрущов предложил мне временное место в этой лаборатории. Нужно было оформиться в экспедицию, где требовался мужчина. "Вот Вы поедете, поработаете, а там, думаю, останетесь у нас навсегда", — сказал Хрущов. Это был суровый 1952 год. Я поехал в экспедицию, и все там было замечательно. Когда мы ехали туда, то у нас с Садовым был какой-то спор, вполне дружелюбный. К слову я ему сказал, что ум — это еще мало, это ничего не доказывает. Вот Бухарин и Гитлер, может, тоже были умными, но это ведь ничего не меняет. Он оборвал меня, сказав: "Перестаньте на эту тему говорить!". Потом мы забыли об этом разговоре. Но там он увидел, что я не его человек, что многое знаю, переписываюсь с Детлаф, что я говорю, "А как Вы докажете такие-то тонкости дробления, а почему нельзя столь же успешно инкубировать икру обычным способом, а не Вашим?". Он понял, что я не свой человек. И мы расстались, правда по-хорошему, но разговор о возможности продолжения моей работы в этой лаборатории даже не поднимался. Я вернулся к исходному положению.

Но тут предстояло обсуждение метода работы с осетровыми рыбами. Я был сильным свидетелем. Садов ничего не мог соврать, потому что я тут же стою, а он знает мои взгляды. И тут он пишет в партбюро заявление, что я аполитичен (а я был кандидатом партии и не могу сказать, что был совсем лишен стремления к карьере) и говорил, что Гитлер и Бухарин — умные люди; что я, будучи руководителем молодежного семинара в институте, призывал сделать наш семинар не хуже, чем семинар докторов наук. А так как семинар докторов наук организован парторганизацией, а молодежный — комсомольской организацией, то я пытался оторвать партию от комсомола. Об осетровых не было ни слова, о сионизме тоже. И вот собралось расширенное партбюро для рассмотрения этого дела, на которое пришли все его друзья, а моих никого не позвали. Я многое отрицал из того, что мне приписывали. Правда, Сталин только что умер, и еще все ходили зареванные. Шло дело врачей. На этом фоне Хрущов меня не поддержал, видимо посчитав, что это невозможно. Тут раскрылось очень многое. У меня было много друзей и людей, с которыми у меня были хорошие отношения. Казалось, наш профорг всегда хорошо ко мне относилась, а тут она выступает и говорит, что я три или четыре месяца не платил за профсоюз и, следовательно, недооцениваю эту общественную организацию. Вот это все один портрет. Те, кто присутствовал и был на моей стороне, предпочитали быть в стороне и не выступать. Т.М.Турпаев, наш бывший директор, на заседание не пришел.

В конце концов они меня сломили, и я в общем сдался. Я сказал, что если мои слова вызывают такую реакцию, то, очевидно, я не прав, я даю основание для высказанных по моему адресу суждений и в этом моя ошибка. Так я покаялся. Вопрос перенесли на партсобрание, где меня должны были исключать из кандидатов партии.

На следующий день дело с врачами было закрыто. Через три дня я был у Хрущова, говорил о своем деле. Он говорит: "Ну что вы, забудьте об этом". На этом все кончилось, но на работу все равно меня не брали. Стоял апрель. У власти тогда был Маленков. Я написал письмо, отнес его в башню, прямо в Кремль, где все написал черным по белому, указав на пятый пункт. Через неделю мне звонят из Президиума Академии: "Идите на работу в Институт морфологии животных" (теперь Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова), Вы зачислены. Я туда прихожу, а Хрущов мне говорит: "Александр Александрович, нам удалось для Вас найти ставку". Я с энтузиазмом его поблагодарил.

Вот я Вам рассказал, пожалуй, самое главное. Хочу подчеркнуть, что я был не в гуще событий, а около них. Конечно, мне завидно, глядя на И.А.Рапопорта. Я мог так же сказать, как он, а я этого не сделал.

Вопрос. Как Вы считаете, эмбриология при Лысенко тоже пострадала?

Ответ. Пострадала, потому что она неотделима от генетики, по крайне мере так должно было быть. Тогда пострадала механика развития. От нее отрекся такой крупный ученый, как Л.В.Полежаев. Г.В.Лопашев не отрекался, но сидел в своей "норке" очень тихо. Как только директором стал Т.М.Турпаев, он Лопашева убрал из института.

Что касается Б.Л.Астаурова, то он был деликатным: он считал, что представителей кольцовской гвардии нельзя трогать, их надо собирать. Вот мы и ругались, что у нас эмбриологию зажимают, а генетику расширяют, но Астауров считал, что генетика важнее. И он был по-своему прав. Когда меня, исключенного из партии, надо было снимать с заведования лабораторией после невозвращения из-за границы одного моего сотрудника, он меня вызвал и сказал, что мы вынуждены так поступить. Я ответил, чтобы он поступал, как считает лучше, и что я его ни в чем не упрекаю, а напротив, целиком ему доверяю. Вместе со мной он снимал еще ряд "провинившихся" сотрудников. Конечно, ему это было неприятно, внутренне он был с таким актом не согласен.

Вопрос. Таким образом, у нас генетика развития тоже пострадала?

Ответ. Да, конечно, пострадала. Она просто не развивалась. Но в общем уже в 1972 году можно было говорить и писать по-другому".

Примечание

[1] *Лепешинская О.Б.* Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме. М.; Л., 1945.